

Николай Петрович Вагнер

Чухлашка

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0007
III.....	.0010
IV.....	.0015
V.....	.0018
VI.....	.0023
VII.....	.0026
VIII.....	.0030

Николай Вагнер

Чухлашка

Случилось это в очень тяжелый год. Была холера. В нашем городе все ее боялись: город был большой, и грязи в нем было много, даже слишком.

И вот среди этой грязи в один пасмурный холодный день, на самой грязной, топкой улице появилась девочка лет восьми-десяти. Откуда она явилась? Никто этого не знал, да и узнать не мог, как она очутилась на дощатом поломанном тротуаре подле длиннейшего забора.

Девочка была оборванная, растрепанная, грязная; но сквозь грязь и отрепья можно было разглядеть бледное личико с пухлыми губками и застывшей недоумевающей улыбкой. Но всего необычнее были у девочки глаза — большие, ясные, голубые. И смотрела она этими глазами на всех прямо, не жмурясь и не опуская их. На голове — рваный платочек, из-под платка выбивались длинные, шелковистые космы русых волос, да такие густые, что можно подумать, будто под платком у нее надета шапка.

Прежде всех девочку заметила Трофимовна, одинокая баба, толстая, болтливая и всегда немного пьяная, известная сплетница и пересудчица.

— Ты отколь? — спросила Трофимовна.

Так как все окрестные жители, и старые и малые, были известны Трофимовне наперечет, то понятно, что новое лицо сейчас же бросилось ей в глаза.

— Ты отколь? — повторила свой вопрос Трофимовна.

Но девочка ничего не отвечала, только смотрела на нее во все глаза, а ручонками перебирала остатки чего-то вроде платка, едва покрывавшего ее худенькие плечики.

— Я те спрашиваю? Отколь ты?.. — Трофимовна нагнулась к девочке и смотрела на нее в упор красными слезящимися глазками.

Девочка молчала.

— Да ты говоришь али нет? — усомнилась Трофимовна. — Язык-то есть у тебя али нет?..

Посмотрев на девочку пристально, она вдруг отшатнулась от нее и заторопилась по тротуару прочь, с испугом оглядываясь и крестясь.

«Батюшки светы, — думала она. — Что же я с ней прохлаждаюсь?! Ведь это как есть холера! Господи, спаси и помилуй!..» — И она поторопилась, чтобы скорее всем рассказать про свое открытие.

— Така махонька да худенька, — говорила она, — ровно девочка; а головка большущая — большущая, и во какие космы с головы ползут!.. Как она на меня взглянула!.. Как взглянула глазищами-то! Батюшки-матушки!.. А глазищи большие-большие, так и горят! — рассказывала Трофимовна по пути всем своим соседям — и ближним, и дальним.

А все дивились, спрашивали:

— Где? Где холера?!

И все бежали, торопясь посмотреть на «холеру». Но «холера» уже исчезла, на тротуаре у длиннейшего забора никого не было. Девочка скрылась.

По большой улице, там, где расположились лучшие магазины, мимо «Гостиного двора» проезжала карета. В карете сидела полная барыня.

На самом бойком месте карета вдруг резко остановилась, кучер закричал: «Тпруу!» — и осадил лошадей. Произошла какая-то возня, суматоха; барыня испуганно вскочила и выглянула в опущенное окно кареты.

— Что такое? Что такое? Герасим!

Кучер Герасим кричал рассерженно на кого-то:

— Что те носит, окаянная?! Зря под коней лезешь! Около кареты собралась толпа прохожих и тоже что-то кричала.

Барыня выскочила из кареты:

— Что такое?.. Что там, Герасим?!

— Девочку задавили!

В это время Герасим с Селифонтием, лакеем, сидевшим на козлах, и несколько прохожих подняли с мостовой девочку и наперебой расспрашивали, где она ушиблась.

Но девочка ничего не отвечала, а только

смотрела большими голубыми глазами на окружающих. Она была в грязном обтрепанном платье, густые светло-русые космы выбивались из-под ее платка.

— Селифонтий! — окликнула барыня. — Посади ее в карету! Ах ты, Господи!.. Она с испугу и говорить не может!

Селифонтий хотел было поднять девочку на руки и исполнить приказание барыни, но остановился.

Девочка была вся в грязи. В грязи были ее маленькие, худенькие ножки, руки, лицо, все ее платье.

— Ничего! Ничего!.. Она не запачкает меня! — проговорила барыня и, подобрав платье, влезла в карету. — Посади ее, Селифонтий, в угол... Ах, бедная девочка!.. У нее, должно быть, с испугу и язык отнялся.

Селифонтий обхватил девочку и посадил в карету. Она не издала ни звука, не сопротивлялась и молча сидела в углу кареты, посматривая на всех большими, ясными, кроткими глазами.

Карета тронулась, и народ стал расходиться.

— Ты, верно, через улицу хотела перейти, милая? — спрашивала барыня. — Да?..

Но девочка молчала и, не опуская глаз, прямо смотрела на барыню.

— Должно быть, она сильно испугалась, — догадалась барыня. — Совсем язык отнялся... Господи, Господи!.. Привезу ее домой, заставлю вымыть... натру спиртом, уложу, напою липовым цветом или бузиной... — И барыня отдалась своим лекарственным соображениям-. Временами она обращалась к девочке с вопросами, но девочка продолжала молчать.

Барыня была сердобольная, она не могла без ужаса подумать, что было бы, если бы девочку ушибли или (спаси, Боже!) раздавили лошади.

— А все этот Герасим неосторожный!.. Сколько раз говорила ему!

А Герасим гнал лошадей, и они в десять минут донесли карету до дому.

Это был большой двухэтажный дом с колоннами, со львами на воротах, с большим палисадником, огороженным красивой чугунной решеткой.

Графиня была вдова. Муж ее некогда управлял каким-то большим отделением; был он очень знатный барин, жил роскошно, открыто и оставил после себя трех детей.

Старший сын, Лев, был теперь уже студент третьего курса, историк-филолог. Младшего сына, семнадцатилетнего Созонта, все знакомые называли «философом» за его чудачества. Старший брат был красавец, статный, ловкий, с выразительными голубыми глазами и черными курчавыми волосами, а младший, наоборот, был ростом два аршина пять вершков,[1] худой, бледный, болезненный юноша, с большой головой клином. На этой голове росли редкие белесоватые волосы, и росли они плохо, так что издали Созонт казался совсем лысым, — тем более что графиня постоянно держала его остриженным под гребенку в надежде, что волосы хоть когда-нибудь да вырастут. Созонт был уже в восьмом классе гимназии и на следующий год должен был стать студентом.

Такая разница была не только в наружно-

сти братьев, но еще более в их душевном складе.

Старший брат Лев был джентльмен, рыцарь, готовый защищать мечом свою графскую честь, ловкий танцор, блестящий кавалер, виртуозный музыкант.

Философ был тихий и угрюмый разумник, который глубоко задумывался над каждой малостью. У него была не комната, а нора, даже две норы — две большие низенькие залы внизу, за маленьким коридорчиком — темные, но теплые. Он сам их выбрал, потому что там никто не мешал ему читать и думать, думать и читать. А он читал и думал постоянно, несмотря на все запрещения докторов.

Сестра их — четырнадцатилетняя Люша — была девочка очень миленькая, не очень умная, но бесконечно добрая. Она уродилась в мать: с таким же крохотным лбом, с густыми черными волосами, такой же приветливой улыбкой на пухлых губах и ясными добрыми глазами.

Кроме того, у графини воспитывался еще ее племянник, сирота Шура, сын ее умершей сестры. Графиня очень любила детей и страш-

но баловала шестилетнего Шуру.

Карета графини остановилась у подъезда, Селифонтий подбежал отворить дверцы, а швейцар почтительно распахнул большие двери подъезда. Любопытный племянник был уже в передней на окне, и его бонна никак не могла уговорить его идти наверх. Он непременно хотел видеть, как тетя высаживается из кареты.

Но прежде тети вдруг высадили какую-то девочку, и любопытство Шуры разгорелось до крайности.

— Это что такое? — допрашивал бонну мальчик.

— Видишь, девочку какую-то привезли, — ответила бонна.

— А как ее зовут?..

И прежде чем бонна успела остановить его, он соскочил с окна и опрометью бросился наверх сообщить, что тетя привезла какую-то девочку-замарашку.

Разумеется, он сообщил об этом сестре Люше и взбудоражил весь дом, так что не только Философ, но даже старший брат Лев решил сойти вниз посмотреть, какого там еще уroda

привезла сердобольная татап.

В передней около девочки собрались люди: экономка Марья Сергеевна, две камеристки и верхний лакей Флегонт.

— Вы возьмите ее, Марья Сергеевна, и вымойте, — обратилась графиня к экономке. — Видите, какая она грязная. Надо ее осмотреть... С испугу она, бедняжка, даже голос потеряла. Герасим ее чуть не задавил... Сколько раз говорила ему, чтобы ездил осторожнее!

Графиня сбросила свое манто на руки Флегонта и направилась к себе, а Марья Сергеевна с видимой брезгливостью взяла девочку за руку, чтобы увести за собой. Но девочка вдруг выдернула свою грязную ручку из руки экономки и, бросившись вслед уходившей графине, крепко ухватилась за подол ее платья. В это время графиня уже входила во внутренние комнаты. Марья Сергеевна бросилась к девочке и стала отцеплять ее руку от платья графини; но девочка как-то странно, отчаянно замычала и начала отмахиваться от всех правой свободной рукой.

— Душечка!.. Тебя вымоют... — уговаривала графиня, стараясь отцепить руку девоч-

ки. — Ведь так нельзя... Нехорошо!..

Но девочка продолжала отчаянно отбиваться и громко мычать, показывая на рот и бормоча:

— Ммм... Нна... Ммм... ммм... ммм.

Тогда только все догадались, что она была глухонемая.

IV

В это самое время сверху сошел граф Лев; прибежали Люша с Шурой, и выполз из своей норы Созонт-Философ.

Люша, едва сбежав сверху и увидав девочку, бросилась к ней, приговаривая:

— Милая!.. Милая!.. Какая славная, хорошая!.. Тут девочка выпустила подол платья графини и уцепилась за Люшу. Она вдруг замычала, забормотала и горько заплакала, припав к груди Люши.

Тут графиня бросилась отцеплять девочку от дочери, и все стали ей помогать. Один только Лев стоял в стороне, с презрением глядя на эту суматоху, и недоумевал: «В холеру впускают в дом уличную девчонку, всю в грязи?!»

А маленький Шура, радуясь бурной возне, прыгал кругом и, указывая на девочку пальчиком, кричал громче всех:

— Чухлашка! Чухлашка! Чухлашка!

С помощью Марьи Сергеевны, камеристок и Созонта удалось наконец оторвать эту «чухлашку» от Люши. Все гурьбой повели ее в

комнаты.

Созонт и Лев не пошли вслед за другими.

— Вот! — сказал Лев брату, указывая на удаляющуюся ватагу. — Извольте радоваться, какое благородство — поднять на улице девочку, из грязи, и, не боясь холерной заразы, привести ее в свою семью! Какой великодушный поступок!

Созонт пожал плечами.

— Она для них игрушка прежде всего... — сказал он.

— Какая игрушка?

— Такая. Они просто благодаря ей любят-ся своим благородным поступком... А ведь любить ближнего по-настоящему, помогать ему — это для человека самое высшее наслаждение, и в этом великая сила...

— Ну, это опять из твоей философской чепухи, — прервал Философа Лев и, махнув рукой, хотел выйти из комнаты, но Созонт положил руку ему на плечо.

— Постой! — сказал он. — Посмотри и подумай: кто больше всех рад находке уличной девочки? Малые, простые сердцем ребята. Их искренне тянет к ней.

Лев чуть ли не брезгливо снял руку брата со своего плеча и, полуобернувшись к нему, сказал:

— Ну так что ж?.. Это в порядке вещей: малых и неразумных всегда тянет к неразумному... к тому, что им по плечу, по росту.

И он вышел, а Созонт вслед ему крикнул:

— Да ведь в этом малом и глупом и скрыто великое, настоящее!..

Но Лев отмахнулся от этих слов, как от надоедливой мухи, и быстро взбежал по парадной лестнице к себе наверх, в свою комнату.

Для того чтобы попасть в свою комнату, ему необходимо было пройти несколько парадных зал. И он проходил эти залы всегда с наслаждением. Он считал, что жизнь в таких высоких, изящно убранных комнатах возвышает и облагораживает душу. А каждый человек должен стремиться к совершенству, то есть к свету и красоте.

Чухлашку вымыли и переодели. Нашелся целый ворох одежды из старого гардероба Люши, и она сама с любовью занялась туалетом Чухлашки. Камеристка Софи только помогала ей.

Настоящего, христианского имени Чухлашки не удалось узнать. Люша прочла ей целые святцы, но Чухлашка отрицательно вертела головой, отчаянно мычала и жестикулировала, а что означали эти жесты — никто не мог понять. Вероятно, ее звали каким-нибудь неполным именем, которого, разумеется, в календаре не было. Так и осталась она для всех Чухлашкой.

Люшу она звала «Люлю», и сама Люша звала ее так же — Люлю. Но для всех других она была просто Чухлашка, хотя и была вычищена и одета в дорогое платье.

И никто не смог узнать, кто такая Чухлашка, несмотря на то что графиня имела изрядный вес в городе и по ее слову вся полиция — и земская, и городская — сбилась с ног в поисках, откуда явилась Чухлашка. Догадывались,

что она пришла из какой-нибудь дальней деревни. Пробовали расспрашивать ее, даже возили ко всем городским заставам, но ничего не могли узнать. Было только ясно, что девочка не желала указать, откуда она явилась. Вероятно, ее гнездо было все разорено холерой.

К Люше она привязалась накрепко, просто прицепилась к ней, и это очень нравилось Люше. Она не тяготилась нисколько этой привязанностью. Люша очень часто и подолгу смотрела в лицо девочки и любовалась им. И действительно, это было милое, привлекательное личико. Теперь, когда Чухлашку причесали и принарядили, она выглядела просто картинкой.

И всего лучше, красивее были большие голубые глаза девочки — ясные и выразительные. И эта выразительность передалась и тонким бровям, и всем чертам лица, необыкновенно живого, подвижного.

Даже Лев с удовольствием разглядывал ее личико и говорил:

— Sapristi![2] Она непременно должна быть хорошей породы... Или... это исключение из правил. Жаль, право жаль, что она глу-

хонемая!.. Но ее непременно надо отдать в школу — в школу глухонемых.

И это было общее желание, но только одной Чухлашке не могли об этом сообщить.

— Ты будешь такая же, как и мы! — уговаривала ее Люша. — Тебя выучат читать и писать. — И Люша показывала ей книги, которые были в ее шкафчике, и картинки, которые так любила рассматривать Чухлашка. — Мы будем видеться каждый день, каждый день... Понимаешь?

Но Чухлашка ничего не понимала. Она отгадывала только неуловимые жесты, движения и игру физиономии Люши. Она понимала, что ее хотят увести куда-то далеко от Люши. Чухлашка крепче прижималась к ней и принималась стонать и плакать, сначала тихо, потом сильнее и сильнее, и наконец рыдала в голос. Этот плач раздавался по всем комнатам, производил суматоху в доме, и на него собирались все, даже Созонт и Лев.

— Вот, — говорил Лев, указывая Созонту на плачущую девочку, — вот тебе дитя народа, возмущается просвещением... Оно чувствует инстинктивное отвращение к нему.

— Да!.. — соглашался Созонт. — Ей противно все, что идет из одного разума, а не из сердца... При том «блаженнии плачущие, яко тии утешатся».

Лев пожал плечами и отвернулся.

«Блаженны не юродивые, — думал он, — а те, которые держатся как можно дальше от них...»

Через полчаса Чухлашка замолкла. Она отцепилась от Люши и уселась в темный угол, за кроватью (это было ее любимое место). Если Люша или кто-нибудь подходил к ней, то она махала обеими руками и отворачивалась.

Она думала. Этот процесс обдумывания, очевидно, давался ей с большим трудом. Она сидела, закрыв лицо руками. Тоненькие жилки на лбу и на висках ее резко выступали вероятно, кровь усиленно притекала к мозгу.

Через час Чухлашка подошла к Люше и с улыбкой закивала ей. Она поняла, вероятно, что ее хотят учить. Сильно жестикулируя, она тыкала в грудь себя и Люшу, указывала на книги и затем махала рукой куда-то вдаль и говорила «фью-ю...».

Все это выглядело смешно, но Люша была

рада за девочку. «Она научится теперь читать и писать», — думала она.

VI

На другой день Чухлашку отвезли в школу глухонемых.

Трудно рассказать, сколько стоило хлопот, трудов и возни водворить ее в школу. Но, к счастью, все устроилось и обошлось благодаря одной классной даме, которая отнеслась к Чухлашке с такой же простой сердечной лаской, как и Люша.

— К нам поступают разные субъекты, — говорила классная дама, — но таких дикарей мы еще не видали... Впрочем, лаской с ней можно, кажется, поладить.

В тот день, когда Чухлашку отвезли и устроили в школу, Лев и Созонт опять сцепились.

Такие случайные схватки двух братьев на почве философии происходили чуть не каждый день. Оба были упорны и нетерпимы в своих взглядах, и каждый старался подчинить своему взгляду другого.

На этот раз зачинщиком был Созонт. Схватка произошла за завтраком, который Созонт считал обедом. Он утверждал, что полез-

нее обедать рано, как обедают простые работники.

— Да простой-то работник обедает хлебом с квасом и луком, — заметил с очевидным пренебрежением Лев.

— И это гораздо здоровее, чем объедаться разными финтифлюшками, — возразил Созонт. — А то цивилизованные эти проквасят дичь и едят мертвечину... Или заплесневевший сыр... Могилятники!.. Не знают, чем раздражить себе вкус... чтобы, видите ли, в нос бросалось...

— Это вкусовые заблуждения, — сказал Лев, — а ты ведь отстаиваешь грубость вкусовых ощущений... Вот что прискорбно! Квашеная капуста... Брр!.. Один запах может отравить здорового человека. Все кислое, соленое, перченое — осуждается современной медициной и гигиеной, от этого отвертывается современный цивилизованный человек...

— Ну нет! — вскричал Созонт. — Где же отвертывается?! Цивилизованный человек любит и кислое, и соленое, и копченое...

— Французская кухня не признает этих вещей. Это наша русская, грубая, мужицкая кух-

ня любит все острое, пряное, жирное, чересчур перченое, кислое... Цивилизованный человек идет к более утонченному... Грубые восточные народы любят яркие цвета, тяжелые жирные кушанья, а цивилизованный человек любит нежные цвета и духи...

Созонт махнул рукой.

— Все это пустяки... — проворчал он, наскоро уплетая довольно жирные макароны с маслом. — Человек должен меньше всего заботиться о том, что ему есть... Вкусно или невкусно то, что он ест, — неважно.

— Ну, брат, ты опять со своей монашеской проповедью... Грубому человеку можно обойтись без всего, к чему привык цивилизованный человек... — И Лев с пренебрежением встал из-за стола, с шумом отодвинул стул и вышел вон, гордо подняв голову.

VII

Прошло три-четыре дня. Графиня и Люша съездили в школу глухонемых, отвезли Чухлашке разных печений и конфет. Чухлашка на все это не обратила почти никакого внимания. Все, что ей привезли, она, не глядя, положила на лавку и не выпускала юбку Люши из рук. Когда же Люша хотела отнять ее руки, чтобы проститься и уехать, то Чухлашка крепко обняла ее и разрыдалась.

Долго пришлось убеждать и уговаривать ее, чтобы она отцепилась от Люши. Наконец обманом удалось освободиться, и Люша с матерью уехали.

Комнаты Люши выходили окнами в сад. Через три дня, очень рано поутру, когда еще было совсем темно на дворе, Люшу разбудил какой-то странный шум. Кто-то бросал землей или песком в окно.

Она вскочила в испуге. Первое ее движение было броситься к матери, спальня которой была рядом; но тотчас же она подумала, что только напрасно разбудит графиню. Может, это идет сильный снег и ветер швыряет

его в окно? И действительно, на дворе была сильная вьюга. Люша зажгла свечу и подошла к окну. Она долго присматривалась и вдруг увидела Чухлашку, которая стояла под окном, прикрывая лицо руками!

Зимние рамы были еще не замазаны. Люша накинула на себя одеяло и отворила окно. Холодный воздух ворвался в комнату и чуть не потушил свечу. Но от земли до окна было очень высоко, и Люша опустила за окно стул. Чухлашка схватила стул, поставила на землю и быстро влезла на него. Люша протянула к ней обе руки, и Чухлашка тотчас же цепко ухватилась за них. Люша, не помня себя от волнения, потянула ее изо всех сил, помогая всем корпусом, и с трудом втащила Чухлашку в комнату. Обе упали на пол.

Чухлашка с рыданиями бросилась к Люше и начала целовать ее руки, при этом стараясь по привычке как можно крепче вцепиться в Люшино платье. Ветер дул в открытое окно, словно пытаясь разделить их, но они обе разом бросились и закрыли окно.

У Люши катились слезы из глаз; она старалась понять, как Чухлашка очутилась

здесь, под окнами ее комнаты. Платье на Чухлашке было изорвано, лицо бледно и искажено то ли страхом, то ли горем — трудно решить.

Несколько раз Люша принималась спрашивать ее, но Чухлашка только мычала и плакала. Она крепко обхватила Люшину шею, как бы боясь, что Люшу могут отнять у нее.

Люша сидела в мягком кресле, а Чухлашка у нее на коленях. Она наконец затихла, перестала плакать. Но только Люша попыталась повернуться, она снова мычала и волновалась.

Сквозь полуопущенную штору начал пробиваться слабый утренний свет. При этом свете лицо Чухлашки казалось еще бледнее и мертвеннее...

«А если она умрет?» — подумала Люша, и ей стало жалко эту немую несчастную девочку, которая привязалась к ней всем сердцем, так что слезы опять тихо покатались из ее глаз. Люша крепко поцеловала лобик Чухлашки, а Чухлашка при этом тихо улыбнулась сквозь сон.

Наконец совсем рассвело. Проснувшись прислуга, пришла в комнату Люши и удивилась, увидев необычайную картину: барышня спала в кресле, крепко обняв Чухлашку, которая тоже спала, положив голову Люше на грудь.

VIII

Графиня сама поехала в школу, чтобы предупредить, что Чухлашка вернулась домой, и узнать, что случилось в школе.

А в школе не знали, что делать, где искать Чухлашку; и только что собирались послать к графине и дать знать о случившемся, как графиня сама явилась.

Вот что произошло в школе. Там появился новый учитель. Это был высокий господин странного вида, смуглый, черный, весь обросший волосами. Он проповедовал везде и всегда абсолютный порядок и благоразумие, а главное — строгость.

— Умом и строгостью, — говорил он, — можно всего достичь.

Все ученики его страшно боялись и прозвали «Черной Букой». Он никого не бранил, а допекал; когда он начинал с каким-нибудь учеником разговор — разумеется, мимикой, пальцами — и останавливал на лице ученика взгляд своих черных глаз, то бедный ученик весь замирал и ничего не мог понять из того, что говорил ему этот страшный учитель.

И вот этот Черный Бука подошел к Чухлашке и, пристально уставившись на нее, поднял кверху палец. Чухлашка посмотрела своими ясными голубыми глазами на него, посмотрела — и вдруг вскочила, вскрикнула и опрометью бросилась вон из класса. В длинном коридоре, куда она выбежала, никого не было... Она пробежала его весь и бросилась под лестницу, в какой-то чулан, где лежали старые половики и всякая рухлядь. Там, дрожа от страха, зарывшись в половики, она просидела вплоть до ночи. Ее везде искали и не могли найти. Ночью она тихо, крадучись, вышла, пробралась по длинным коридорам и лестницам в швейцарскую, с большим трудом отворила парадную дверь и очутилась на улице.

Вьюга крутила снег и хлестала в лицо Чухлашке, но она как была в одном камлотовом платице, так и пустилась бежать. Девочка была твердо уверена, что прибежит к Люше. И только она, Люша, стояла теперь в ее воображении и будто магнитом влекла к себе. Но до Люши было неблизко, а спросить никого нельзя, потому что никто не понял бы мыча-

ния Чухлашки и ничего бы она не могла слышать и объяснить. Она просто бежала. Добежит до перекрестка, передохнет, оглянется и снова побежит вперед по той же улице или повернет за угол. Ветер валил ее с ног, снежинки, как иголки, кололи ей лицо и руки; а она все бежала и бежала, пока не перехватывало у нее горло и не подгибались ноги от усталости.

На одной улице она вдруг остановилась перед раскрытыми воротами в длинном заборе, постояла несколько секунд и юркнула во двор. Почему она это сделала? Потому ли, что инстинктивно желала укрыться от вьюги и ветра, или потому, что вспомнила, что так будет ближе пройти к Люше, — но только она попала на широкий двор. Ведь наша память очень капризна и очень часто шутит с нами: прячет то, что нам нужно знать, и выдает то, что навек казалось забытым и потерянным...

Почти весь широкий двор был заставлен поленницами дров. Одна из них была полуразвалена, дрова свалились и рассыпались по земле. Зато другие расположились как бы лесенкой, и Чухлашка по этой лесенке вскараб-

калась до самого верха дощатого забора. Но с этого забора надо было теперь как-то спуститься на землю.

Чухлашка не долго думала. Ей опять вспомнилась Люша, она манила ее к себе неудержимо. Чухлашка бросилась через забор прямо вниз. К счастью, у забора вьюга надела высокие сугробы и Чухлашка попала прямо в такой сугроб. Ползком она выбралась из него. Когда она прыгала, то зацепилась платьем то ли за гвоздь, то ли за изломанную доску забора и разорвала платье. Но она об этом не думала.

Чухлашка теперь была вполне убеждена, что она близко, очень близко от Люши. И действительно, пробежав еще одну улицу, она очутилась перед длинным решетчатым знаковым забором, за которым был большой сад. В этом заборе она отыскала лазейку и очутилась в саду того самого большого дома, в котором жила Люша.

— Что?! — говорил с торжеством Лев, обращаясь к Созонту. — Ты видишь, «плоды просвещения» не даются чухлашкам... Они бегут от них. Созонт пожал плечами:

— Ты делаешь вывод из единичного случая и не замечаешь того, что важнее... Ведь какая у нее энергия! Девочка в одном тоненьком платьице преодолела сильный ветер и мороз и отыскала то, к чему стремилась.

Лев перебил его.

— Это безрассудство, — вскричал он, — глупость, за которую она, вероятно, дорого заплатится!..

И это, к сожалению, была правда.

Когда Люша проснулась и взглянула в лицо Чухлашки, то сразу поняла, что девочка больна. Ее лицо было красно, глаза почти не смотрели, она тяжело дышала, металась и тихо стонала.

Послали тотчас же за доктором. Но доктор не умел говорить с глухонемыми, и Чухлашка постоянно отталкивала его и мычала. С трудом удалось Люше уговорить ее, чтобы она показала язык и дала себя осмотреть... Смерили температуру. Она поднялась выше 40°. Осмотрели горло — в горле обнаружился подозрительный налет.

— Что с ней? — спрашивала графиня доктора. Но доктор не мог сказать ничего опреде-

ленного.

Он только советовал положить Чухлашку в отдельную комнату, отделить от всех.

— Потому, — сказал он, — что у нее, по всей вероятности, развивается что-нибудь заразное...

Но этот совет не так-то легко было исполнить.

Чухлашку никакими силами нельзя было оторвать от Люши, да и сама Люша никак не желала покинуть больную.

— Мама, — говорила она, — она больна, и ей одной будет хуже...

— Да ведь ты можешь заразиться от нее, — уговаривал ее Лев. — Ведь теперь холерное время... У нее дифтерит!

— У нее нет ни холеры, ни дифтерита, — протестовала Люша.

И сколько ни представляли резонов Люше, как ни уговаривали ее и графиня, и Лев, и даже Созонт, — ничего не помогло.

— Что же, — говорила Люша, — заражусь так заражусь. Значит, так Богу угодно... Без его воли ни один волосок с моей головы не упадет.

— На Бога уповай, а сам не плошай! — возражал Созонт.

— Нет. Выше воли Бога ничего нет, — говорила Люша. — Только надо верить крепко-крепко! Крепко верить!.. — И она сжимала свои руки так, что пальцы хрустели.

Целый день Люша не отходила от больной своей Люлю. Она уложила ее на свою кровать и лежала вместе с ней.

Жар Люлю увеличивался... Губы сохли и трескались. Люше было тяжело и опасно лежать подле нее... Но она лежала. Она надеялась, что жар Люлю переходит к ней и что Люлю делается лучше.

Временами Чухлашка сквозь мычание начинала что-то бормотать, как будто собираясь говорить. Люша придвигала ухо к ее губам, но ничего не могла разобрать — Чухлашка при этом только сильнее сжимала ее руки или платье.

Вечером снова приехал доктор, так как ему хорошо платили за визиты в дом графини. Он опять смерил девочке температуру. Жар не уменьшался, но в горле ничего не оказалось подозрительного. Доктор советовал де-

лать ванны или обертывание в мокрые простыни. Но исполнить все эти советы было крайне трудно.

Крики и стоны Люлю приводили Люшу в исступление; она плакала и Христом Богом умоляла, чтобы девочку оставили в покое.

— Пусть будет что будет, — говорила она. — Не троньте ее. Она лежит покойно. Пусть будет что Богу угодно.

При таком решении сестры Лев просто выходил из себя.

— Ты не понимаешь, что говоришь и что делаешь, — говорил он в сердцах. — Этак всю медицину пришлось бы выбросить за окно... Этак поступают неучи, невежды, мужики, ничего не понимающие в науке и ничего не знающие!

— Лева! — возражала Люша сквозь слезы. — Пусть они ничего не знают, но они чувствуют много! Они живут сердцем...

— Оставь ее, — говорил Созонт, — ты видишь, в каком она состоянии... На нее тоже теперь нужно действовать сердцем, а не убеждением.

И Лев пожимал плечами.

«Все тут просто полоумные! — думал он. — С ними сам оглупеешь или сойдешь с ума».

И он уходил к себе наверх.

Прошло два дня и две ночи, две бессонные ночи. Люлю отпустила Люшу — отцепилась от нее. Доктор посоветовал прикладывать ей на голову гуттаперчевый мешок с рубленым льдом. И это был единственный совет, который можно было исполнить.

Тотчас же купили мешок, нарубили льду, и Люша сама положила этот холодный компресс на голову Люлю. Компресс постоянно меняли, но жар больной нимало не уменьшался. Она постоянно просила пить, металась и хваталась за голову.

На третий день Люша, которая спала или, правильнее говоря, лежала в той же комнате на кушетке, рано поутру на цыпочках подошла к кровати Люлю и молча наклонилась над ней.

Люлю смотрела во все глаза, при слабом свете ночника они блестели лихорадочным блеском и казались еще больше, чем обычно.

Дыхание ее было тяжело и неровно; но страдания не было на лице Люлю, оно как-то

странно преобразилось. Это было лицо не маленькой девочки, а взрослой девушки — страшно худое, осунувшееся. Истрескавшиеся губы она постоянно облизывала.

Люлю протянула дрожащую руку. Люша взяла эту сухую, горячую ручку и почувствовала, что девочка слабо потянула ее к себе. Люша нагнулась. Она хотела поцеловать ее, и вдруг Люлю тихо, но ясно проговорила: «Люблю». Она проговорила это неотчетливо, чуть слышно, так что Люша переспросила ее, и она повторила тверже: «Люблю» — и затем прибавила: «Люш-ш-ш» — и остановилась.

— Ты любишь меня?! — вскричала Люша. — Милая, милая, дорогая!.. Ты можешь говорить! Ты слышишь меня?!

И Люлю тихо-тихо, едва заметно кивнула головой и мигнула своими большими ясными глазами.

Люша, не помня себя от радости, вскочила и с криком «мама! мама!» бросилась к графине.

— Мама, проснись, вставай! Она меня слышит!.. Она говорит... — И Люша заплакала...

Графиня поднялась и как была в одной ру-

башке вошла к Люше в комнату. Она тихо приблизилась к кровати, на которой лежала Люлю, и девочка, глядя на нее ясными глазами, явственно сказала:

— Люблю!..

Графиня перекрестилась:

— Чудо какое, Господи!!! Глухонемая заговорила!

Эта новость стала известна всему дому. Все поднялись, наскоро оделись и собрались у кровати Люши. Пришли и Лев и Созонт, и камеристка и бонна; привели даже Шуру — и всем Люлю повторяла заветное слово: «Люблю!» Она всем протягивала свою дрожащую руку, хотя рука плохо ее слушалась.

И когда все достаточно надивились и нао-хались, когда все начали понемногу расходиться, тогда только и графиня и Люша спохватились, что вся эта история может утомить больную.

Лев был последним, кому она подала руку, и теперь лежала, тяжело дыша, как бы в забытьи; только глаза ее были широко открыты и неподвижно устремлены к потолку.

Люша, сидевшая подле на табуретке, на-

клонилась и спросила:

— Люлю! Ты слышишь меня?

Но Люлю ничего не ответила. Только дыхание ее становилось трудным и хриплым, и все лицо приняло какое-то выражение недоумения и восторга — она чему-то будто дивилась.

Графиня торопливо встала со стула и молча пошла в спальню...

— Скорее!.. Как можно скорее за доктором! — распорядилась шепотом графиня. И тут же чуть слышно прибавила: — Она умирает!..

Эти тихо сказанные слова опять каким-то образом разнеслись по всему дому.

И все постепенно собрались опять в комнате Люши и с ужасом увидели, что девочка действительно умирает.

Только теперь Люша наконец догадалась, поняла то, что от нее скрывали.

Она широко раскрыла глаза и бросилась к умирающей.

— Люлю! — вскричала она. — Люлю! Ты слышишь меня? Слышишь, дорогая моя?! — И вдруг кинулась к матери: — Мама! Мама! Она

не умрет... Как же это! Она не может умереть... Нет... нет! Я не хочу... Я так люблю ее... люб... лю... — И она упала в обморок.

Сверху спустился Лев; лицо его было сердито... Но на кого, он и сам не знал. Созонт стоял в углу и тихо плакал. Вдруг он обернулся, подошел к брату и порывисто обхватил его обеими руками.

— Брат! — говорил он, всхлипывая. — Брат!.. Люблю!..

И тут неожиданно что-то поднялось в душе Льва, что-то подступило к горлу. Он обнял брата и вдруг заплакал — совсем как в детстве.

Он ясно понял, ощутил всем сердцем, что это великое чувство — выше всяких «взглядов» и «мнений»...

Примечания

1

Аршин — около 70 см, вершок — около 4,5 см.

[^^^]

Черт возьми!

[^^^]